



ВЛАДИМИР МАКСИМОВ



Чудеса оконного стекла

РАССКАЗЫ

Паук и кошка

Страшно жить на этом свете.
В нём отсутствует уют —
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут...

Николай Олейников

Утром, как обычно, позвонила жена...

— Да, Наташа, — ответил я, взяв лежащий рядом на столе мобильный телефон и узнав на экране высвеченный там номер.

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт. Родился в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл. Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института, Литературный институт им. А.М. Горького. Автор повестей и рассказов, имеющих автобиографическую основу: Морозный поцелуй (1998); Формула красоты (Иркутск, 1998); В то лето (Иркутск, 2004); Не оглядывайся назад: роман (Иркутск, 2005); Предчувствие чудес: повесть, рассказы: (Иркутск, 2008); Куда всё это исчезает: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: Парижская тетрадь (Иркутск, 1996); Сестра моя осень (Иркутск, 1999); Памяти солнечный зайчик (Иркутск, 2007), Ахиллес, Александр Великий и прочие... : (Иркутск, 2021). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение). Живет в Иркутске.

— Как дела? — с энтузиазмом, но как-то грустно спросила она.

— Да всё вроде ничего. Сажу на веранде. Разложил на столе свои листы. Пытаюсь работать. Но, что-то пока не пишется. Поэтому созерцаю заоконный пейзаж, лениво ворочаю в голове какие-то свои, словно тяжёлые каменюги, мысли...

— Нет чтобы жене позвонить, раз не пишется, — не злобно упрекнула Наталья. — А он, видите ли, как тот самый, ну как его?..

— Сизиф, — подсказал я. — Царь Коринфа.

— Ну, да. Только он, кажется, камень на гору постоянно закатывал. А ты мысли в голове перекатываешь... Кстати, а за что его так наказали, не знаешь?

— За то, что он хотел перехитрить смерть. И обманом заманил к себе бога смерти Танатоса, держа его потом закованным, в плену. Отчего люди перестали умирать.

— Так это же здорово! — воскликнула жена.

— Для людей и Сизифа — да. А для миропорядка — нет. Поскольку всё должно идти своим чередом. Именно поэтому Арес — бог войны, — освободил Танатоса, а тот изверг из Сизифа душу. И с тех пор он в Тартаре — аду, по-нашему, постоянно закатывает на гору тяжёлый камень. А тот, только достигнув вершины, снова скатывается вниз. То есть, он производит Сизифов труд — синоним бессмысленного, бесполезного, никому не нужного труда...

— Интересно, — через многие километры (из областного центра) донёсся до меня сюда, на дачу, голос жены.

— А тебе я не стал звонить, — пояснил я, — потому что подумал, что ещё рано. Ты ведь в отпуске. И часов до десяти утра вполне могла бы спать. Тем более что поспать ты любишь.

— Нет, я уже давно встала, — ответила Наташа. — Собираюсь к маме. Надо ей что-нибудь приготовить, да прибраться в её квартире. Она сама-то уже почти ничего не может, а на брата надежда плохая. Он вечно занят. — Уже без прежнего энтузиазма, с каким начала разговор, произнесла она. — Как у вас там, на Байкале погода?

— Тихо и солнечно, — ответил я.

— А в Иркутске дождик. Мелкий такой, противный, как осенью. — Совсем уже грустно произнесла Наташа.

— Ну, вот, — деланно пытаюсь позлорадствовать я. — Могла бы приехать сюда на дачу. И жила бы в лете на Байкале, а не в осени в городе.

— Ты же знаешь, что я сейчас не могу. За мамой надо ухаживать.

— Знаю, — тоже уже не бодро, как в начале разговора, соглашаюсь я.

— Ну, тогда, раз тебе всё равно не пишется, поговори со мной. Расскажи, например, только подробно, что ты там видишь из окна, что вообще делаешь? Не скучаешь там один?

— Начну отвечать с последнего вопроса. Пока есть работа, и работается — не скучаю. Вернее, скучаю не сильно, поскольку тебя мне постоянно недостаёт. Теперь, что делаю, а вернее, делал с утра, — продолжил я, — раз уж тебя интересуют мелкие подробности жизни. Проснулся, как обычно, в половине восьмого. Умылся на улице из умывальника дождевой прохладной водой. Вернулся в дом, застелил постель. Потом, тоже как обычно, помолился. На завтрак поел бутербродов с сыром «Плавыч», колбаской, с несколькими дольками чеснока и помидором. Выпил при этом большую кружку крепкого кофе с молоком. Помыл посуду, согрев воду для мытья на плитке. Почистил зубы. И сел работать. Видишь, какую уйму

дел я уже успел переделать до половины десятого. Да, ещё хотел затопить в доме печь, но потом передумал.

— Почему передумал? — спросила Наташа, пожалуй, только для того, чтобы продолжить разговор.

— Ну, потому что в доме не так уж прохладно. Хотя на улице утрами уже не тепло. Градусов пять — восемь, не больше. Не лето, одним словом. Сентябрь. А ещё передумал оттого, что нашёл в корзине, где лежат щепки и бумага для растопки, несколько распечатанных тобою на компьютере листов с расписанием движения поезда: «Иркутск — Москва» и «Москва — Сочи». С моими карандашными пометками на них, по поводу часовых поясов. Где, на какой станции они меняются. Ну, и отвлёкся, вспомнив, как мы с тобой славно съездили в декабре, кажется года два уже назад, в Сочи. Причём, из Москвы, помнишь, ехали в двухъярусном вагоне, на втором этаже?..

— Да, хорошо мы с тобой тогда прокатились. И до Москвы нам повезло попасть в двухместное купе — для проводников. Тогда ещё на эти места билеты продавали, — с сожалением произнесла жена. — И мы почти всё время были с тобой вдвоём. Так было хорошо. Завтракали, помнишь — кофе, сыр, колбаска. Обедали — китайская лапша, сало, рюмашка водки. Ужинали с вином. Читали детективы. Спали вволю. И говорили, говорили, будто спешили наговориться на всю оставшуюся жизнь. С тобой интересно говорить. Ты так много знаешь, — вздохнула жена, видимо снова представив ту нашу поездку. — И порою, ты помнишь, мы даже умудрялись на какое-то время помещаться на моей нижней полке вдвоём...

— Да, славно было. И всё время что-то новое за окном вагона. Новые пейзажи, вокзалы, города. И я там гулял на длинных остановках по перрону. А ты ленилась выходить... А помнишь, как мы уезжали из Сочи, уже в конце декабря, кажется, в канун католического Рождества. То ли 24, то ли 25 декабря? Сидели на вокзале, ожидая посадки на поезд, в маленьком зальчике на втором этаже пустынного, сонного какого-то вокзала, совсем одни. Смотрели, как мерцает разноцветными огнями уже наряженная настоящая ёлка. От которой исходил такой приятный лесной, свежий аромат. Пили пиво, прямо из горлышка. Ели бутерброды. Смеялись, и радовались тому, что Новый год встретим уже дома, в Иркутске среди настоящего белого снега. А за окном, в свете фонарей, помнишь, шёл дождь. И перрон блестел так празднично, как умытый холодной водой, румяный, весёлый ребёнок. И так это было странно для нас — предновогодье, ёлка и... дождь.

— Да, помню, — счастливым голосом отозвалась Наташа. — А помнишь, как мы с тобой до поездки в Сочи, за год или два до того, съездили в Карловы Вары? Это было, кажется, как и сейчас, в сентябре. И там тоже почти всё время шёл дождь. Но всё равно было так хорошо. И номер у нас был шикарный!

— А ещё там был чудесный бассейн и баня! — припомнил я. — Ты, правда, ни туда, ни туда не ходила. Ленилась, как обычно. А мне нравилось, напарившись от души, поплавать потом в бассейне. И смотреть, бултыхаясь в тёплой воде, на огромные тёмные — от пола до потолка, уже вечерние окна, за которыми в свете разноцветных фонарей снова шёл дождь. Отчего мне, почему-то, всё время вспоминалась чудесная повесть Богомила Райнова «Что может быть лучше плохой погоды?». Возможно, она мне вспоминалась потому, что была написана о любви...

— Да, хорошая была поездка. И санаторий был хороший. И Карловы Вары — такой уютный чистый городок. А еда там была какая! Я всё боялась, что с этим «шведским столом» наберу лишние килограммы. И помню, как мы с тобой, как

раз чтобы эти самые лишние килограммы не набрать, устраивали многокилометровые прогулки. Гуляя по городу под дождём. А как празднично от него блестела мощёная мостовая. Одно было плохо. И туда и обратно мы летели самолётом. А я, как и ты, самолёты не люблю. И мне было страшно...

— Но зато мы с тобой умудрились позавтракать в Иркутске. Пообедать, правда, уже по московскому времени, в Москве, а поужинать с рюмочкой «Бехеровки» уже в Карловых Варах. На поезде бы так не удалось... Ну ладно, Наташа, давай не будем берeditь душу воспоминаниями. Ибо у нас их с тобой, надеюсь, будет ещё немало...

— Нет, ещё поговори со мной, — капризным голосом маленькой девочки попросила жена, заподозрив, что я собираюсь закончить разговор.

— Ну, тогда продолжаю, ибо я ещё не ответил на твой первый вопрос, что я вижу из своего окна. Представь, я одновременно наблюдаю и трагедию и идиллию.

— Как это? Разве так бывает?

— Выходит, что бывает. Ты помнишь новый пристрой к веранде, который мы с Санькой сделали в прошлом году?

— Смутно. Я только помню, что вы при мне его достраивали. Он что, развалился? — пошутила Наталья. — Раз ты говоришь о нём в прошедшем времени.

— Нет, не развалился. Просто в углу, сразу за окном веранды и стеной пристроя, вверху, под козырьком крыши, огромный паук с белым шарообразным брюхом сплёл паутину. И в неё попала какая-то осенняя, с зеленоватым брюхом, здоровенная муха. И паук теперь спокойно, как неизбежное зло, подтягивает её, отчаянно трепыхающуюся, к себе. Это и есть трагедия...

— Зато мух — разносчиков всякой заразы, будет меньше, — вставила Наташа. — И это, пожалуй, идиллия, оттого, что мир станет чище. Это ты имел в виду, когда говорил, что одновременно наблюдаешь и идиллию и трагедию?

— Нет. В данном случае это всё-таки чистая трагедия, поскольку одно живое существо среди бела дня сожрёт другое. И это как-то жутковато, на мой взгляд, даже для мира насекомых.

— А-а-а, — неопределённо протянула жена. — А что же тогда идиллия?

— На нашей полянке, перед домом, вальяжно этак, бродит белая пушистая кошка. Сразу видно, и по её чистой шёрстке, и по повадкам, что она домашняя. Видимо кто-то из наших соседей привёз её сюда на лето, на вольный выпас, так сказать. Так вот, она пытается изображать из себя охотящуюся тигрицу. Правда, охотится она не на косуль и антилоп, как настоящий тигр, а на полевых мышей — полёвок. Очень симпатичных, кстати. И видно, что охотиться по-настоящему у неё совсем не получается. Так только — форс один. А когда она со скошенного участка заходит туда, где трава ещё не скошена, виден только её нервно и нетерпеливо подрагивающий задранный вверх хвост. И выглядит это комично. Вот это, как мне кажется, и есть идиллия. И мыши целы, и кошка довольна своими действиями.

— Да, похоже, что это на самом деле идиллия, — подтверждает мои предположения жена. — Потому что, если бы ей удалось поймать мышку, то для мышки это была бы уже трагедия. И полной идиллии не получилось бы. Впрочем, вся наша жизнь состоит из целой череды идиллий (как, скажем, наши ежегодные с тобой поездки куда-нибудь) и больших или маленьких трагедий... Вот, например, то, что мы можем теперь при помощи мобильных телефонов разговаривать друг с другом

из любой точки мира — это, пожалуй, тоже идиллия. Я помню, ты рассказывал мне, как раньше тебе приходилось звонить с дачи домой — своей первой жене и вашему сыну. Ты вечером, уже после рабочего дня, когда там народу поменьше, спускался с твоей горы в контору порта и, упросив дежурного диспетчера, звонил с его стационарного телефона в Иркутск на такой же стационарный домашний телефон, где к условленному времени ждали твоего звонка. А позвонив, ты снова поднимался к себе на гору, радостный оттого, что удалось поговорить с близкими людьми. Помню, как ты романтично описывал, что с вершины горы любовался потом огнями порта, тогда ещё не разоренного, не пришедшего в упадок. Я вообще заметила, что ты умеешь найти радость в мелочах. Помнится, ты говорил, что этот небольшой байкальский порт с несколькими портовыми кранами, похожими на усталых уснувших журавлей, представлялся тебе огромным океанским портом. И ты уверял себя, что там, внизу, не Порт Байкал, а, как минимум, Зурбаган или Лисс из повести Грина «Бегущая по волнам». Помню, как ты интересно мне обо всём этом рассказывал... — Она немного помолчала, а потом продолжила, всё тем же ровным, но снова немного грустным голосом. — А вот то, что у меня мама больна, и я не могу поэтому приехать к тебе на дачу даже во время отпуска — это для меня, пусть и маленькая, но трагедия. Потому что нельзя жить в разлуке с любимыми людьми. Это неправильно. Да ещё так долго — всё лето...

— Но ты же понимаешь, Наташа, что дом и участок надо обихаживать. Выкашивать траву, например. Иначе здесь всё зарастёт, как на брошенных дачах, крапивой. Надо кое-что чинить постоянно. Крышу, забор, крыльцо, баню... А к тому же, мне здесь, в тиши, обычно неплохо пишется. А поскольку я воспринимаю свою писанину не как хобби, а как призвание, я стараюсь заниматься этим всерьёз. И, как правило, за лето и сентябрь успеваю написать несколько, смею надеяться, неплохих рассказов...

— Я всё понимаю, — ответила Наташа. — Просто мне без тебя грустно и пусто. И кажется, что время совсем не течёт, словно оно застыло, как река зимой...

— Мне тоже тебя не хватает. И тоже бывает порою и тоскливо и одиноко...

— Да там у тебя ведь не только «мир абсолютной тиши», как ты назвал один из своих рассказов, но и мир абсолютного одиночества, пожалуй...

— Не абсолютного, Наташа, — попробовал я развеселить её недавно услышанной по радио шуткой Михаила Жванецкого. — Абсолютное одиночество — это когда ты разговариваешь с самим собой, а твой собеседник тебя не слышит.

— Смешно, — снова не весело, впрочем, отозвалась Наташа.

— А к тому же, когда мне пишется, я одиночества не чувствую.

— Я понимаю, — снова ответила она. — А сегодня-то отчего не пишется?

— Видимо, тем подходящих нет. Все кончились. — Постарался я снова пошутить.

— А ты напиши о пауке и кошке. Так и назови рассказ: «Паук и кошка». Название, по-моему, весьма интригующее.

— Попробую, — ответил я, тоже уже не так весело и уверенно. Видимо невеселое её настроение передалось и мне.

— Ну ладно, пока, — уже бодрее сказала жена, и добавила: — ты там очень-то не грусти. Тебе не идёт.

— И ты не грусти. Пока. Скоро уже увидимся. Почти половина сентября прошла. А я 20 вернусь, уже на всю зиму.

— Приезжай поскорее, — попросила Наташа...

Разговор закончился.

Я положил телефон на стол выше чистого белого листа бумаги, лежащего передо мной, на котором в верхнем левом углу стояло только сегодняшнее число, год и место моего пребывания: «12 сентября 2019 г., Порт Байкал».

Немного подумав, я решительно написал сверху, посередине (чуть ниже уже имеющейся на нём записи) этого совсем безжизненного пока, будто степь, занесенная снегом, листа: «Паук и кошка...»

Чудеса оконного стекла

Это небольшое прямоугольное — 35 на 73 сантиметра — окно расположено невысоко над лавкой, на которой я обычно лежу после парной, отдыхая, во всегда прохладном предбаннике моей добротной, бревенчатой — 2 на 3 метра бани.

Сама банька разделена у меня на два отделения — моечное и парная. В моечном отделении тоже есть, ещё меньших размеров, южное, а не северное, как в дощатом предбаннике, пристроенном к срубам, окно. В парной, с двухступенчатым широким полком, оконце ещё меньше.

И от жара железной печи и нагретых в её специальном «кармане» сверху камней оно обычно наполовину запотевает — от низа до середины, с провисающей вниз верхней линией. И эта изящная изогнутость сверху запотевшего стекла отчего-то, почти всегда, когда я лежу на полке, напоминает мне серпик луны, висящей в чёрном небе вверх «рогами». Словно небесная бледная лёгкая лодочка, качающаяся на волнах Вечности.

В не запотевшей, верхней части чистого стекла, особенно промозглой дождливой осенью, приятно видеть, как шальной ветер пронесёт мимо жёлтую листву. А чёрные от дождя и безлистые ветви берёз сиротливо стучатся в стекло, будто озябнув, и просясь в тепло парной. В её семидесятиградусную жару. В этот блаженный рай. Где ты, лёжа на полке и чувствуя спиной, как приятно горячи его сухие пока ещё доски, только и можешь в приятной истоме произнести: «Господи, благодарю тебя за все твои великие милости ко мне...»

Однако основные оконные чудеса происходят всё же не в парной. И даже не в моечном отделении, где температура колеблется обычно от 40 до 50 градусов, и где стекло остаётся прозрачным, а в предбаннике. Там температура (если конечно не открывать в него дверь из моечного отделения) от 10–15 градусов тепла, не более.

И когда ты выходишь из парной, кажется, прожаренный до самых костей, в предбанник, охолонуть, отлежаться на лавке под окном, на грубой домотканой дорожке, прихваченной тобою по пути, и висевшей до этого у печки в мойке, ты ощущаешь одновременно и приятное тепло грубой ткани у себя под спиной, и прохладу предбанника. И чувства возникают такие, будто бы ты только что попал из дышащей нестерпимым жаром аравийской пустыни на скалистый берег одного из фьордов Норвегии.

Лёжа на спине, закинув ноги повыше на стену, а руки подложив под голову, я рассеянно наблюдаю за чудесами оконного стекла, расположенного совсем невысоко надо мной.

От всего тела, словно от просыпающегося вулкана, валит пар. И пар этот, извилистыми быстрыми клубами поднимаясь вверх, затуманивает или, лучше ска-

зять, будто бы оклеивает полупрозрачной калькой оконное стекло. И оно на какое-то время становится едва прозрачным, серовато-белым. И через эту кальку ты уже не видишь ни скучного осеннего неба с тёмными дождевыми тучами, быстро уносимыми куда-то ветром; ни красивого колка берёз с белыми, как свечи, стволами, сгрудившимися, будто подружки на просторной поляне, вспоминающие радостные летние дни...

Но вот снаружи, сменив направление, в стену предбанника и окно легонько стучится не сильный, низовой ветерок. И ты видишь, как на стекле, отчего-то сначала с его левой стороны, калька начинает, словно старинный свиток, сворачиваться, будто бы в рулон. И в образовавшейся прозрачной части стекла снова ненадолго открывается небольшая часть заоконного пространства.

Но вот короткий и внезапный порыв ветра стихает, и всё «возвращается на круги своя» — стекло опять затуманивается.

Но вновь, через какое-то время, набегают уже более сильный порыв ветра. Значительная часть окна открывается вновь, будто рассеивая окутавший его туман. А на ещё затуманенной части стекла, с правой стороны окна, ты вдруг видишь удивительную картину — словно по белой зимней хорошо укатанной дороге весело вьётся позёмка! И сразу вспомнится, как ты по необъятно такой же белой тундры («Господи, как это всё уже было давно!») ехал на собачьей упряжке, на Чукотке, в бухту Провидения. И так же вот весело по насту впереди тебя стлалась позёмка. И это было красиво. Но и тревожно. Поскольку ты не был уверен, достаточно ли, после вчерашней оттепели, прочен наст. Не сделался ли он тоньше? И сможет ли он выдержать, не ломаясь под тяжестью собак, их лап, которые они могут, в случае его ненадёжности, сбить до крови. А от этого тогда зависела не только их, но и твоя жизнь. Потому что со сбитыми лапами собаки уже не смогли бы тянуть нарту. А ты сам не смог бы по хрупкому насту дойти даже до ближайшего селения...

Но, к счастью, наст оказался достаточно прочным, и собаки бежали по нему легко, и нарта скользила отлично. И за нею, когда ты всё-таки тревожно оглядывался назад, не расцветали на таком идеально белом снегу «красные гвоздики» — следы крови от сбитых собачьих ног. Да ещё ветер был попутным, помогая собакам тянуть нарту, вздыбливая шерсть на их загривках. Отчего создавалось впечатление, будто они на что-то или кого-то злятся. Возможно, они злились на ту быструю весёлую позёмку, которую никак не могли догнать? Хотя и старались изо всех, но, к счастью, не последних сил, поскольку бублики их хвостов, загнутых на спину, говорили о том, что всё у них — у этих аляскинских маламутов, в порядке. И они с охотой, без особого напряжения, делают своё дело, которое любят...

А то вдруг это нечто белое на стекле, слегка колышимое, по-видимому, проникающими через невидимые щёлки порывами ветерка, начинало представляться мне длинными плавными волнами безбрежного океана, на каком-нибудь пустынном острове с белым песком. И волны эти то накатывали, то снова отступали назад...

А на противоположной, прозрачной стороне стекла начинали образовываться причудливые, свисающие от верхней части рамы сталактиты. И стекло от этого становилось будто бы рельефным, словно хрустальным. И в этих вертикальных, как тоненькие прутики, сталактитах так ослепительно что-то поблескивало, словно в них прятались маленькие, как пылинки, снежные крупички...

И вдруг сталактиты начинали распадаться.

И теперь уже всё стекло полностью — от края до края — начинало плакать

горькими (пар от моего разгорячённого тела к окну уже не поднимался) длинными, сверху до низу стекла, слезами.

Образующиеся в его верхней части крупные прозрачные капли, словно водяные шарики, начинали скатываться вниз, прочерчивая на всё ещё слегка затуманенном стекле прозрачные извилистые полосы.

Слёзы эти, и лёгкое, словно от малюсеньких иголочек, познабливание, ощущаемое кожей, говорило о том, что пора уже снова, с фиордов Норвегии, возвращаться, в такой опять желанный зной аравийской пустыни. Точнее — на жаркий полук.

Такие вот чудеса оконного стекла, всякий раз новые, неповторимые, я наблюдаю по субботам, когда топлю на даче баню. А потом с удовольствием парюсь в ней, обычно один...

Я встаю с лавки в прохладном предбаннике. Забираю с неё промокшую дорожку. Зайдя в мойку, вешаю её на специальную круглую палку, протянутую от стены до стены под потолком, для просушки. Подбрасываю в печь сухих дровишек. Захожу в парную.

Залажу на верхнюю полку. Перед этим плещу немного горячей воды с несколькими каплями пихтового масла на раскалённые камни. Отчего в парной начинает вкусно пахнуть пихтой. А пар со злобным шипением устремляется вверх, распространяясь по всему пространству маленького помещения. А после ещё одного выплеска воды на раскалённые гольши, небольшое оконце парной занавешивается, будто бы плотным тюлем...

Окно задёрнуто. Ложись и засыпай в неге щедрого жара.

И я действительно, лежа на прогретых досках полка, вдыхая приятный целебный пихтовый аромат, почти дремлю, млея от приятного жара и не желая пошевелить даже пальцем.

«Хорошо-то как, Господи! Благодарю тебя за все твои милости к нам — неразумным детям твоим», — только и могу я мысленно произнести ото всей этой благодати, и так недавно наблюдаемых мною чудес...

Да, поистине, даже в самых мелочах, чудны дела твои, Господи...